

Неизвестный мне художник в Воркутинском лагере запечатлел товарища по заключению № И-1-758, которым был мой отец - журналист, театральный, литературный критик Яков Наумович Эйдельман (1896-1978).

Портрет восхитил друга, профессионального художника Бориса Жутовского, хорошо помнившего моего отца: он поговорил с "издателями", следствием чего и появляется на свет этот очерк в распространенном теперь жанре "сын об отце".

Когда-то П.А. Вяземский доказывал, что не в состоянии писать мемуары о друге-родственнике Карамзине: "Ведь не напишешь же биографии, например, горячо любимого отца".

Позже всякое бывало меж предками и потомками. Отец любил цитировать "Конармию" Бабеля, о том, как сын (красный) справляется с белым папашей.

"- Хорошо вам, папаша, в моих руках?

- Нет, сказал папаша, - худо мне.

- А теперь, папаша, мы будем вас кончать..."

В этом эпизоде уже запрограммирован будущий Павлик Морозов. Впрочем, герой Бабеля действует более открыто и честно...

Глубоко уважаемый и любимый мною писатель-ученый (ныне покойный) Владимир Михайлович Глинка написал мне, что, хотя его собственный отец умер много десятилетий назад, - это все равно главная печаль его жизни.

То же и со мною: но не дело выносить на публику внутренние, интимные мотивы. Поэтому если все же берусь за рассказ, то надеюсь, что через личные подробности (по мере возможности документированные) сумею высказать нечто общее, типически интересное, характеризующее не столько одну семью, сколько одну или несколько эпох.

1896-1950

Отец родился в Житомире в 1896 году, то есть успел вполне вырасти до революции - но еще недостаточно "утвердиться", чтобы революция не могла на него повлиять, многое в нем переменить.

В большой, как обычно, еврейской семье среднего достатка он один пристрастился к чтению, вследствие чего, преодолев процентную норму, попал в гимназию и получал от своей матери, моей бабушки Тамары Савельевны, те гривенники, которые следовало внести в местную библиотеку за право читать книги, газеты и журналы.

Сколько восклицаний о росте советской провинциальной культуры!

Это верно примерно в том смысле, в каком разделение книг, картин, скульптур одной помещичьей усадьбы между несколькими сотнями сжигающих ее мужиков увеличивает "средний культурный уровень народа".

Житомирская гимназия, запечатленная Короленко в "Истории моего современника" (отца обучали еще некоторые описанные там педагоги), сумела навсегда подарить гимназисту недурные немецкий и французский языки, историю, словесность...

Ах, нынешние школы Житомира и сотен других некогда уездных и губернских городов! Ах, житомирский пединститут, размещающийся ныне в той самой гимназии, где обучали моего отца...

Публикуемый очерк - последняя работа известного историка и писателя Натана Эйдельмана. Некоторые фрагменты очерка после смерти автора были напечатаны в Париже. Наша публикация осуществляется по единственному экземпляру рукописного оригинала, испещренного авторскими пометками и исправлениями. Полный текст очерка любезно предоставлен редакции вдовой писателя Юлией Мадора-Эйдельман.

- Натан очень любил своего отца и мечтал написать о нем, - рассказывает она. - Яков Эйдельман - интересная и сильная личность. Он был журналистом, театральным и литературным критиком. В 1949 году его арестовали за пропаганду сионизма, и он стал заключенным Воркутинского лагеря под номером И-1-758. Позже Натан говорил: "Редкий в те времена случай, когда человека посадили "за дело". Яков Эйдельман был страстным, убежденным сионистом. В молодости мечтал отправиться в Палестину, чтобы сражаться за создание еврейского государства. Не получилось: встретил будущую жену, началась любовь, момент для отъезда был упущен, выезд стал невозможным.

В послевоенные годы в доме Якова Эйдельмана появлялись молодые люди, которым он рассказывал об истории еврейского народа, его культуре, литературе.

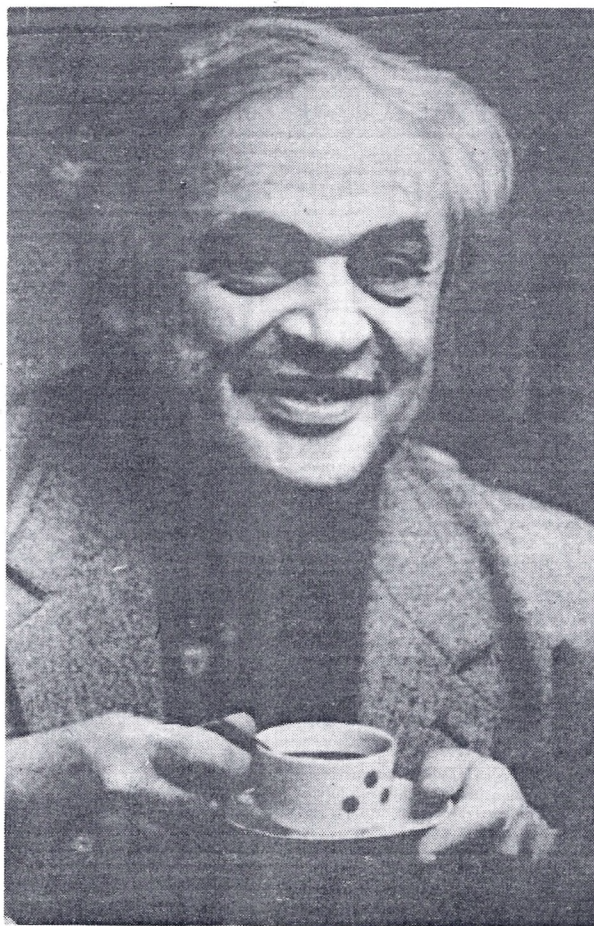
Натан гордился отцом, его честностью, тем, что он добровольцем пошел на фронт, стойкостью в тюрьме и на каторге, мужеством, с которым он встретил мучительную смерть.

Отец присутствует в дневниковых записях Натана до самого последнего дня. Ни отец, ни сын никогда не были на земле Израиля. Но в Израиле есть рощица, посаженная учениками Якова Эйдельмана.

Этот очерк Натан подготовил для сборника, посвященного художникам-заключенным. Сборник этот, насколько мне известно, пока не вышел, а сам очерк после смерти автора был в сокращенном виде опубликован в Париже.

ОБ ОТЦЕ

■ Натан ЭЙДЕЛЬМАН



Натан Эйдельман

Несколько лет назад я посетил вместе с дочерью "родину предка" - и, зайдя в областную детскую библиотеку (прежде в ее здании была городская, ТА САМАЯ), увидел двух мальчишек, читавших друг у друга через плечо одну книгу - "Квентин Дорвард" Вальтер Скотта.

Вот так же некогда и гимназист с гривенником листал здесь Лермонтова, Толстого, приложения к "Ниве", сочинения капитана Маризетта и Луи Жаколю...

В гимназии удалось продержаться до 6-го класса: учитель-черносотенец Горяинов возвращался с урока, ученик Яков Эйдельман, дежурный, нес за педагогом, как полагалось, классный журнал, а в учительской осмелился усомниться в только что полученной тройке за совершенно правильным ответом.

- Эйдельман, бросьте ваши еврейские штучки!

В учительской присутствовала юная дама-франуженка (что, конечно, было безразлично для обоих "собеседников"): шестиклассник тем журналом, что был у него в руках, угощает учительницу по морде - раз, два и три...

Волчий билет, спасение из города от полиции, перепалка по этому поводу между либеральной и черносотенной газетам, выходившими на Волыни (удивительное для провинции разнообразие, не правда ли?!).

Недавно ленинградские друзья подарили мне копию циркуляра, требующего не принимать имьрека ни в какое медицинское заведение страны, ибо - он нанес педагогу "оскорбление действием". Очевидно, точно такие же бумаги были сочинены не только для медицинского ведомства, но и по всем другим отраслям просвещения. Однако старая власть "мышей не ловила": циркуляры не были отправлены в составную часть империи, Царство Польское, где отец как раз и окончил гимназию экстерном.

1-я мировая война, ранение в ногу, Киев, революция, смены властей, первые опыты в журналистике, увлечение театром, еврейская студия "Аманут", которую опекает выдающийся украинский режиссер Лесь Курбас, а также московские актеры из "Табимы" и вахтанговцы. Именно там, в молодежных студиях, отец нашел работу, профессию и жену.

О театре мои родители и их сверстники рассказывали так, как теперь никогда не рассказывают.

Что такое театр 1920 - 1940-х?

Конечно, не было телевидения, но уже существовало и набирало силу ки-

Фото любезно предоставлено Юлией Мадора-Эйдельман

но. И, тем не менее, театр занимал совсем особое место в жизни того поколения. С раннего детства я постоянно слышал: Лесь Курбас, МХАТ, Мейерхольд, Таиров, "Рыши, Китай!", ГОСЕТ, Турбины, Турандот...

Наверное, театр был естественным продолжением той театральности, которая была растворена в тогдашней жизни - с ее риторикой, трагикомичностью, ожиданием счастья.

Не берусь судить. По случайным, но очень отчетливым киноэпизодам некоторых тогдашних спектаклей много сегодня, в конце столетия, "не смотрится", кое-что странно и даже смешно. Однако не берусь судить...

Отца и мать через волею в театр национальное: многие близкие, хорошо знакомые остались в театре "Габима", уехавшем сначала в Европу, а затем в Палестину, откуда до недавних пор еще шли приветия...

Отец - пламенный еврей, сионист в лучшем смысле этого слова, и оттого (подчеркивая, ОТТОГО!), что умел так любить свой народ, был он настоящим русским патриотом (и еще однажды признался, что и украинским).

Оттого, что любил и знал "Габиму", был вахтанговцем (абсолютно не подошла бы формула - "ХОТЯ любил "Габиму", поклонялся Вахтангову").

Впрочем, был абсолютным атеистом; всегда бешено бросаясь в драку, более всего на свете презирал трусость и подозревал в чужой религиозности элементарный "недостойный мужичины" страх смерти. Эта безрелигиозность была своего рода верой "с обратным знаком" и часто даже вела к несправедливости по отношению к единоземникам, облачившимся в кипу и талес: "Жалкие людишки, слабые душники!"

В концлагере, в первый же день (рассказ приятеля-очевидца), отец проходил мимо группы "бендеровцев":

- Вот еще одного пархатого пригна-ли!

Отец схватил тяжеленный дрын и рванулся вперед: друзья удержали, оттащили, объяснили, что грозила верная гибель. Наутро посланец от украинцев: кто такой? откуда? Узнав, что с Вольни, спросили, как относится к Тарасу Шевченко. Отец в ответ - наизусть, по-русски и по-украински. "Бендеровцы" удивились, прислали поест, после не раз приходили побеседовать...

ИЗ ПОЗДНЕЙШЕГО ДНЕВНИКА ОТЦА:

"30 июня 1974 года.

Один мой собеседник вдруг возмел желание "ошеломить" меня вопросом: кто вам ближе: еврейский писатель Менделеев или русский поэт Пушкин?

Что-то нехорошее, дурнопахнущее я почувствовал в этом вопросе, какую-то скрывую иронию: может ли у евреев быть гениальный поэт, художник, мыслитель? такого, например, масштаба, как Пушкин, Лермонтов, Толстой, Герцен?

Я уж не говорю о неправомерности, абсурдности сопоставления таких РАЗНЫХ писателей, как Менделеев и Пушкин. Можно с таким же успехом спросить - кто мне ближе: Эсхил или Шолохов, Флобер или Михалков, Гейне или Софронюв?

Менделеев - это, конечно, не Софронюв и не Михалков. Это еврейский КЛАС-СИК, замечательный, первоклассный мастер, но в его творчестве отражен ИНОЙ мир. ИНЫЕ проблемы, живут и заражают нас ИНЫЕ люди, страсти, идеалы, он художник ИНОГО типа, характера, чем Пушкин, и все это не мешает мне любить его так же, как я люблю Пушкина. - может быть, как-то ПО-ДРУГОМУ, как люблю по-другому Балзак и Байрона, Мопассана и Swiftа, Беранже и Лакссенса. Да, в силу многих обстоятельств Пушкин мне ближе многих и многих великих художников. Ведь

встретил же я немало людей, выросших на русской поэзии, страстно любящих ее, живущих ею и откровенно признающих, что Лермонтов им ближе, ближе, чем Пушкин. Что в этом предосудительно-го?

Вот если бы человек сказал, что ему ближе ТРЕТЬЕСТЕПЕННЫЙ еврейский поэт, чем какой-нибудь ВЕЛИКИЙ русский, французский или немецкий писатель, то над этим человеком можно было бы так же посмеяться, как если бы он стал утверждать, что ему дороже малоталанливый, тусклый, серый русский писатель, чем гениальный еврейский или какой-нибудь другой не-русский художник; дороже только потому, что названный им серый поэт или беллетрист - русский, т.е. "солыный, да свой", да над ТАКИМ читателем можно только посмеяться, но не вступать в дискуссию с ним".

Другая запись сделана 22 сентября 1976 года:

"Бродил я однажды по большой американской выставке, демонстрировавшейся на территории ВДНХ. Забрел в книжный отдел выставки, стал перелистывать книгу за книгой. Попался мне в руки том Еврейской энциклопедии, изданной в США. И вдруг наткнулся я на фамилию Хаим Гринберг. Вздрогнул от радостной неожиданности. Талантливейший публицист, литературный критик, оратор, человек, глубоко связанный с лучшими традициями еврейской литературы, пламенный сионист, автор целого ряда блестящих статей о творчестве мировых и еврейских писателей в русских журналах, о важнейших эпохах еврейской истории. Я не знал, что он уже умер (он эмигрировал в первые годы Октябрьской революции). А ведь он был не стар. Я не имел понятия о его политической деятельности за рубежом, о его многочисленных лекторских выступлениях в разных странах мира, на разных языках, которыми он владел в совершенстве. Совершенной новостью явился для меня тот соображаемый энциклопедией факт, что Гринберг был долгие годы личным советником первого президента Израиля - Бен-Гуриона.

И вот читаю в статье, посвященной Гринбергу: в своем предсмертном завещании он назвал близким ему людям - не совершать над его могилой НИКАКИХ ЕВРЕЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДОВ, а исполнить только русскую песню на слова Лермонтова - "Выхожу один я на дорогу"..."

Отец, как увидим, кое-что и себе тут напорочил...

Литературные и еще больше театральные рецензии; интервью, между прочим, с Гербертом Уэлсом и Лионом Фейхтвангером (житомирская гимназия не давала забыть языки). Рядовая и "полудомадная" (в меру отшовой беспартийности) работа в "Красной газете", "Комсомольской правде", "Литературке", "Московском большевике".

В сфере искусства, театра было вроде бы меньше политики, но с каждым годом - все больше, все труднее: не спрятаешься.

Позже, уже в хрущевские, брежневские десятилетия, отец (и многие другие) утверждали, будто тогда, в 1930-х, они "все понимали", смеялись над безумным культом Сталина, не верили в громкие политические процессы.

Верю, что отец не верил; помню, что смеялся. И все же - из 1960 - 1970-х годов, после лагеря, - можно сказать, отчасти опровергал на те времена свой поздний опыт.

Все понимал - да не все и не так, как сегодня. Ведь существовал гиле-

ровский фашизм, борьба с которым вроде бы много оправдывала, на любого, даже убежденного скептика действовали так же и всеобщий массовый психоз, инерция революционных надежд.

Впрочем, отец, сохранивший часть своих старинных газетных рецензий, спустя сорок-пятьдесят лет успел еще вступить в любопытный диалог с самим собой.

Вот - хлесткая рецензия на постановку "Пугачевщины" во МХАТе ("Комсомольская правда", 1925 год). После довольно строгого разбора "актерских неудач" Москвина, Тарасовой и других (в ту пору МХАТ еще не был "запретной зоной" для критики) - следует финал:

"Спектакль оставляет тяжелое чувство тревоги за будущее судьбы МХАТ.

Товарищ Луначарский как-то писал, что Станиславский жаждет подлинной пьесы о новых людях, о новых днях, - по словам Станиславского, эта пьеса будет написана не раньше, чем через 10 лет.

А если будет написана, - справится ли с ней Московский Художественный театр?"

8 мая 1968 года автор рецензии написал на полях "письмо" самому себе: "Нахальное, легковесное суждение!"

**54-летний человек
отправлен на Лубянку,
через 8 месяцев в Бутырки,
получает 10 лет по статье
58/10 и отправляется в
лагерь "студентом
Воркутинской академии
имени И.В. Сталина".
Позже отец скажет, что,
если бы существовала невоз-
можная гарантия выйти
живым и здоровым,
обязательно следовало бы
посидеть в лагере**

На полях рецензии, посвященной спектаклю "Гапон" (театр имени МСНС), самооценка: "Черт его знает, до чего развязно!" Прочитав в собственном тексте 1925 года об "изумительно сделанной актером Топорковым роли нарком" о том, что "кажется, впервые приходится видеть на сцене настоящего старого большевика, человека одной идеи. За один этот образ спектакль заслуживает того, чтобы он был показан широкой рабочей аудиторией", Я.Н. восклицает (все в том же 1968 году): "Ой, как глупо!"

Отец, как мне говорили многие старые газетчики, неплохо "котировался" в театральном и журналистском мире, нашл себе много врагов, особенно в свойственном ему жанре иронии и разности. Писал, что думал. Иногда вступал в опасные конфликты, например, раскритиковав бездарную повесть о Буденном, которую одобрил сам маршал. Ряд его наблюдений, разборов сделан со вкусом, глубоким пониманием: таковы, например, статьи о спектакле "Потоп" в театре "Габима"; о "Пиковой даме" в постановке Мейерхольда и ряде других. Однако эпоха наступала, требуя послушания, покаяния. Подводя итоги той старинной деятельности, 72-летний отец вынес вердикт о себе, тридцати- и соро-

калетнем: "В общем - газетное лихачество, рецензентские скороспелки, страшная поверхностность, при наличии некоторых правильных суждений и оенок!"

Время бежало. От 1937-го спасла, наверное, беспартийность, на жалованье и гонорары жила семья. "У нас с тобой была счастливая молодость", - напишет от матери из лагеря. Это правда, жили хорошо, ибо очень любили друг друга; добавим - счастливая молодость в жуткие времена - при частичном даже понимании той жутки...

Война - 46-летний, мучимый ревматизмом отец уходит добровольцем. Служивший с ним вместе замечательный человек, яркий самородок из города Павлова на Оке Горьковской области, Анатолий Николаевич Карочитов (о нем еще вспомним) записывал все деревни и городки, встретившиеся на военных дорогах: от Сиявинских высот и болот на Волжском фронте, через Донские степи (внешнее кольцо Сталинградского котла), затем Смоленщина; при Корсунь-Шевченковом особенно отличился в чудом спаслись от гибели, а отсюда со 2-м Украинским фронтом (маршала Малиновского) на юго-запад, через Украину, Молдавию, через Бухарест, Будапешт, Прагу; а в Праге погрузились в теплушки - и на Дальний Восток - в Маньчжурю, Порт-Артур. Декабрьским днем 1945 года капитан танковых войск, увешанный 15 орденами и медалями, вернулся домой. Надеялся, как и многие, что теперь будет хорошо: террор не нужен, ибо главный враг разбит; можно жить богаче и счастливее, ибо война окончена...

Фронтвика - да еще с 1942 года члена партии (под Сталинградом принесли партиблет, что как бы само собой разумелось) - ждала карьера: радиокомитет, вещание на Запад - опять же об искусстве, театре. Надежды...

Пройдет немного времени - и грянут удары по театральным критикам-космополитам, начнется новый "ледниковый период". Отца быстро исключают из партии за "недопустимые разговоры" о слабости многих официально признанных произведений. Сейчас каждый, наверное, засмеется, а в ту пору как-то никто не смеялся, что среди обвинений были громко в довольно широкой компании произнесенные слова: "Да, Софронюв - это не Чехов!" На собраниях, где лидерствовали тогдашние столпы радиовещания Чернышев и Шелашников, было сказано: "Да, мы знаем, что Чехов выше многих советских писателей, но злопыхательство до этого поводу имеет вражеский характер".

Изгнанный с работы (при неучительности, сыне-студенте), отец полтора года пытался устроиться без всякой удачи. Печататься было, естественно, негде - оставалось делать выписки из классиков, которые помогали даже в худшие минуты.

Генрих Гейне: "Хороший стиль стал предметом нападков как нечто аристократическое, и нам много раз приходилось слышать утверждение: "Истинный демократ пишет как народ, - искренне, просто и скверно".

Герцен: "Если один человек себя рассматривает как блюдо, а другой хочет его съесть, - пусть ест; они стоят того - один, чтобы быть людоедом, другой, чтобы быть кушаньем".

Лесков: "Кто не хочет страдать за убеждения, тот пострадает за недостатки их".

Ромен Роллан: "Я не доверяю словам с большой буквы: Человек, Искусство, Личность, Природа, Душа... Я не знаю, что такое Свобода; я знаю, что такое свободные люди".

В ту пору в гостях у "опального" стал появляться товарищ по несчастью, тоже изгнанный с работы Сергей Григорьевич Лещинский. Один на один отец отводил с ним душу насчет космополи-

тизма, антисемитизма и прочих прелестей тогашней политики, а Лещинский все аккуратно передавал куда следует...

В ночь с 3 на 4 ноября 1950-го: *Увижу верх фуражки голубой И бледного от страха управдома...*

Вместе с перелуганной дворничихой Верой Ивановой - майор Коптелов, капитан Шмельков, младший лейтенант Лебедев. Бывалые люди, с лицами, очень усталыми от обычной ночной работы.

Предъявлен ордер, отец быстра собирает вещички, прощается; наверное, никогда не увидимся. Мать в слезах: "Он не виноват!" (наверное, более распространялся в ту пору российский волюнтеризм, нежели цветастое "Мой милый, что тебе я сделала!").

Майор: "Посмотрите, чья подпись под ордером, - министр АБАКУМОВ: разве такие люди ошибаются?" Мать, конечно, не возражает насчет таких людей. Затем 15-часовой обыск, в ходе которого найдены и изъяты сочинения Шульгина (советские издания 1920-х годов), а также... "Курс русской истории" В.О. Ключевского.

Исчезли также как-то не внесенные в протокол мелочи: золотые часики, флакон французских духов...

54-летний человек отправлен на Лубянку, через 8 месяцев в Бутырки, получает 10 лет по статье 58/10 (контрреволюционная пропаганда и агитация) и отправляется в лагерь "студентом Воркутинской академии имени И.В. Сталина". Позже отец скажет, что, если бы существовала невозможная гарантия выйти живым и здоровым, обязательно следовало бы послать в лагерь.

Много лет спустя, объясняя, отчего он больше не пишет о театре, Я.Н. воскликнет: "Какой там к черту театр по сравнению с тем, который я видел в Воркуте!"

Наверное, вся театральность 20-30-х годов переместилась туда, в "Архипелаг".

ИЗ ДНЕВНИКОВ И РАССКАЗОВ ОТЦА

В Бутырках оказался вместе со знаменитым руководителем советского цирка Данканом, арестованным во второй раз, умирающим. Тот просит избрести для него какую-нибудь вину, чтобы прекратили пытки, скорее отправили в лагерь, - но все же не расстреляли: "Фантазии нет у вас, а еще литераторы!"

"Во время очередного допроса меня следователем Братяковым (отвратительный циник, клепка, кандидат исторических наук) я нарочно, чтобы немного подразнить его, процитировал строфы Маяковского, где поэт говорит, что забросил бы бомбы Кремль, если бы революция пошла по пути обожествления вождя (томяк Маяковского с поэмой "В.И. Ленин", издание 1928 года, дали из огромной, может быть, лучшей в те годы библиотеки МГБ).

- Как же вы недосмотрели, выдаете заключенным такие книги?

- Да, - протянул следователь, - за такие строки мы бы сейчас подвели Маяковского под статью 58/19 (то есть террористические призывы, намерения)".

"Финал следствия, у прокурора Дорона. Маленький, упитанный, розовощекий, явно - самодовольный. Допрос несколько раз прерывается телефонными звонками. Звонит жена прокурора. Из его ответов видно, что у них гости, что его ждут с нетерпением. Он поглядывает все время на часы. На очередной звонок он отвечает:

- Скоро, скоро... А пока возьми то, что стоит под столом. Откройте там..."

"Вызвали "с вещами". Значит - финал, будет зачитываться приговор. Прощайтесь с товарищами по камере (в Бутырской тюрьме). Дружественно на-

строенный Геннадий Быков (знаменитый баянист), пожмая руку, говорит:

- Желая вам семь лет!
- Это мечта тех, кто боится осуждения на 25 лет".

Много позже, незадолго до смерти, отец все-таки еще раз вернется воспоминанием в ту бутырскую камеру.

"7 апреля 1975 г.

Сегодня, перечитывая некоторые главы в книге сына "Луниги", наткнулся на то место, где сообщается, что когда группу декабристов отправляли в Свеаборг, на каторгу, двое из группы - Громницкий и Киреев - заплакали.

Не знаю, почему я при первом чтении не обратил внимания на эти строки. А сейчас мое сердце невольно стеснилось. Я вспомнил, как и я впервые заплакал после моего ареста, состоявшегося в ночь на 4-е (или 5-е) ноября 1950 года.

Тогда случилось 5 мая 1951 года. До этого дня ни отчаянная тоска по семье, ни мучительные переживания при мысли о ее положении, о ее будущем, ни сознание безнадежности МОЕГО положения не могли вызвать у меня хотя бы слезинку.

“Рахманинов. Польша. Исполняет Иванов, международный шпион, статья такая-то. Маяковский. Стихи о советском парашюте. Исполняет Рабинович, статья 58/10; Моцарт. Турецкий марш. Исполняет фон Экке, штурмбанфюрер войск СС, статья такая-то...”

Но вот 5 мая меня перевезли на "черном вороне" из МГБ в Бутырку. Первым потрясением в полном смысле слова было зрелище Бутырского двора - чистого, опрятного, залитого ярким солнечным светом и покрытого множеством цветочных клумб: поразило такое обилие цветов в начале мая. Вошел в камеру в побавленном состоянии. Стенные. Все мы лежали на железных койках, на которых еще не было тюремного белья.

И вдруг разразился весенний лихорадочный, веселый, неукротимый, длительный - и все, что мутно томило мою душу в эти мгновения, все, что отложилось в ней за прошедшие полгода, внезапно прорвалось у меня неудержимым потоком слез. Мне уже не было стыдно перед товарищами по камере. Я повернулся спиной к стене и долго рыдал, а непрекращающийся гром как бы сопровождал меня: он был так силен, что я даже подумал, что мой сосед Геннадий быстра не слышит моих рыданий.

Но утром, во время нашего скудного завтрака, Геннадий тихо и грустно сказал:

- Я слышал вчера, как вы плакали".

1950-1954

И вот лагерь - и тот портрет. ЗАКЛЮЧЕННЫЙ И-1-758.

По возрасту и ревматизму - не в шахту, а на вспомогательные работы: чистить снег, топить печи, хоронить мертвецов, выписывать номера, которые все лагерники обязаны были носить на

правом колене и левой руке:

"Один заключенный поднял шум. Ему не понравилось, как я вывел тушью его номер:

- Это же черт знает что! Я хочу, чтобы номер выглядел красиво, а вы что сделали?"

Здесь приказано провести десять лет, а потом дожидаться исполнения напутствия, сделанного следователем Братяковым, - что после десяти добавят еще десять и еще: "Вы же в лагере озлобитесь: как можно возвращать в столу?"

Но что ж, ТЕАТР: место действия ясно, время действия - десять и более лет; действующие лица: некоторых из них, соседью по бараку, отец припомнил много лет спустя.

Нужно ли доказывать, что в одном бараке отпечатались довольно адекватно вся страна, вся эпоха?

Теперь можно заглянуть в бесконечное ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

Для высшего начальства устраивались спектакли-концерты с участием неплохих сил союзного и международного класса. На одном лагунке начальник приказал, чтобы конференсы (естественно, тоже каторжники) отсутствовали номера так: "Рахманинов. Польша. Исполняет Иванов, международный шпион, статья такая-то. Маяковский. Стихи о советском паспорте. Исполняет Рабинович, статья 58/10; Моцарт. Турецкий марш. Исполняет фон Экке, штурмбанфюрер войск СС, статья такая-то..."

В этом худшем из мест хотели куда больше, чем на воле, иногда объясняя это отсутствием страха попасть в тюрьму и лагерь.

"Лагерные "развлечения": Молодой, но довольно уже "опытный" вор, находившийся в одном со мною бараке, предложивший мне пари (в присутствии многочисленных свидетелей): он утверждал, что ему удастся днем, когда я прилягу после работы, снять с меня ремень, да еще если я буду лежать на спине. В случае удаче - я обязуюсь отдать мой ремень навсегда, а сам обязать себя какой-нибудь веревкой, чтобы "не падали штаны". Ну, а он, в случае неудачи, мне ничего не даст. Воры, мол, таких "пари" не принимают.

Я согласился. Гордость заговорила. И вот на следующий же день состоялось первая попытка "разрешить" меня. Я прилеж, от усталости вздремнул. Но каким-то особым чутьем угадал приближение вора: он подполз на коленях. Как только он приподнялся, приподнял руку, я, не открывая глаз, произнес:

- Ну ладно, ладно, камись, братишка!

В бараке грянул хохот. Вор был немого смущен, но сказал:

- Вот черт святой, в один из ближайших трех дней ремень перейдет ко мне.

Две новые попытки прошли для него неудачно. Я был чакчу, не дремал, но приторчался дремлющим.

А на третий день все же задремал. И открыл глаза, когда услышал хохот. Вориска стоял возле моей нары и, победоносно улыбаясь, демонстрировал мой ремень. Не могу понять, как он вытаскивал его из-под меня, но вытаскивал.

Я признал себя побежденным и сказал:

- Ничего не поделаешь. Ты мастер. Что ж, ремень твой.

Но победитель оказался великодушным.

- Нет, батя, - сказал он, весь сияя от удовольствия. - Раз ты не стал торговаться, сразу признал себя побежденным, возьми свое добро. Вот кабы ты

стал культить, не видать бы тебе ремня. У нас тоже своя психика!"

ТЕАТР СЛУХОВ: например, кланутся, что сами слышали, как радио передавало, будто американцы сбросили на Корею маршала Жукова: оказалось - "колорадского жука" (который, впрочем, был в Корее не более "правлоподобен", чем маршал Жуков).

ТЕАТР "ОДНОГО АКТЕРА": начальники вызывают отца и отправляют его надолго в БУР, то есть барак усиленного режима (кажется, за то, что дал из послылки меньше, чем тот рассчитывал).

- За что?

- Запихнул, что в два часа ночи ты играл в барак на скрипке!

Оставалось только спросить, скрипка была Страдивари или Гварнери?

БУР в том лагере состоял из множества секций, "пеналов", так что можно было через вернее крохотное окошко услышать соседнюю секцию. Вскоре оттуда доносилось:

- Фраер, Есенина знаешь?

- Есенина не знаю, Блока знаю.

- Валей Блока.

И отец начал:

По вечерам над ресторанами...

Благной сосед повторил; затем то же самое в третьей секции, в четвертой - и так до самого конца, всего, кажется, было 15 или 20 пеналов. Можно вообразить, как искажалась строка, пока дошла до конца, а меж тем вслед за первой так же по цепочке шла вторая, третья, четвертая.

Горячий воздух дик и глук,

И правет окриками пьяными

Весенний и тлетворный дух...

Вслед за первым стихотворением Блока - второе, третье. "Еще, еще и еще!" - требовали секции, и отец читал, читал: "Девушка пела в церковном хоре", "Скифы", "Я закрою голову белым", и снова требовали - давай! "По вечерам над ресторанами..."

Какая сцена для приличного кирежиссера или для расхожей морали о значении поэзии...

А в другой раз, под Новый год, когда всем особенно тяжело, в бараке попросили почтить. На этот раз было:

А мне, Онегин, пышность эта,

Постылой жизни мишура,

Мой успех в вихре света,

Мой модный дом и вечера,

Что в них? Я все отдаю бы рада,

Всю эту ветхость маскарада,

Весь этот блеск и шум и чад

За полку кие, за дикий сад,

За наше бедное жилище,

За те места, где в первый раз,

Онегин, водела я вас.

Да за смиренное кладбище,

Где нынче крест и тень ветвей

Над бедной нянею моей...

Все молчали, и вдруг высказался простой, но очень грамотный человек, если не ошибаюсь, плотник из Ленинграда:

- А все-таки мы все отсюда выйдем и будет хорошо.

- Почему же, откуда знаешь?

Рабочий стал объяснять, что если есть на свете такие вот стихи, то значит, есть правда и все окончится хорошо. Многие смеялись, ибо правда в ту сталинскую новгородную ночь казалась недостижимым мирражом - через сто или двести лет...

Еще и еще калейдоскоп невыдуманных сцен, записанных или рассказанных отцом - актером и зрителем того дьявольского театра.

У костра бешено спорят "твердокаменные" с трюкистами, все уверены в своей правоте, хотя каждый сидит не меньше семнадцати лет. Пожилой еврей, послушав, говорит отцу:

- Яков Наумович, наконец я понял, в чем разница между Сталиным и Троцким. Вот вы сколько имеете право посылать писем домой?

- Два письма в год (штрафной лагеря).

- Так вот, я вам скажу, что если бы победил Троцкий, то вы посылали бы три письма в год: все-таки Лев Давыдович был образованный человек.

Кстати, об этих письмах: некоторые приходили неофициальными каналами; за взятку выносила за зону охраны или блатные, иногда нас достигали удивительные треугольнички "фронтového типа", чудом, на ходу где-то сложенные и брошенные.

Как-то в одном из них читаем: "Просьба прислать голубую сорочку-безрукавку, это мне нужно для одного человека, которому я кое-чем обязан". После этого в тексте карандашом, поддвываясь под почерк отца, пояснение: "Шолкову, сияю" (именно так).

Отец жалел мать, выживавшуюся из сил на работе, опасавшуюся, что вот-вот заберут опечатанную комнату, собирающую продукты посылки в Воркуту. Отец писал бодрые послания, лишь изредка "расслабляясь": "Вспоминаю почему-то нашу последнюю прогулку в Александровском саду, заходили есть мороженое на улицу Калининна, медленно бредли по Арбату... Как мало таких минут было в нашей жизни..."

Всего лишь третий лагерный год. Продуктовые посылки из Москвы посылать нельзя - только с загордных почт. Спасибо, огромное спасибо тому чиновнику почтамта, которого нам указали бывалые люди, - он за десятку соглашался принять на улице Кирова.

Как не вспомнить Герцена, заметившего, что если бы в России не брали взятку, жить было бы совсем невозможно!

Сын за это время окончил университет и с "такой биографией" с трудом устроился в отдаленной школе; отец в письмах желал ему в будущем "только творческих страданий" и справлялся - как там, "Спартак" идет в первенстве СССР?

В очередную новогоднюю ночь 1 января 1953-го вспоминали, кто и где был ровно десять лет назад. Отец довольно точно назвал Дубовое и Нестерки - в Донских степях, в дни Сталинградской битвы. Вдруг эсесовец с соседних нар оживился и начал перечислять те же места, сопоставляя топографию, пейзаж: друг против друга, почти как сейчас. Между прочим, этот эпизод облизал собеседников, расположил друг к другу...

И вдруг забрезжило. 14 мая 1953-го отец пишет:

"Славные, милые мои!..

Происходит замечательные вещи, и правильно один мой знакомый сказал, что кроме "Необыкновенного лета" Федина мы обогатились сейчас и "необыкновенной весной" 1953 года! Не случайно статья Эренбурга в "Правде" от 1 мая называется "Надежда". Сейчас и в моем сердце всплынула какая-то надежда... У меня инстинкт глубоко оптимистический - и он всегда в конце концов побеждал. Я не знал, как и сейчас в сущности не знаю, откуда придет счастье, но я в него верю, верил часто, "рассудку вопреки".

7 июля 1953 года (сразу после ликвидации Берии): "Почти три года не хотел читать, сейчас просыпается старая страсть". Тут же просьба прислать "Литературную газету" и "Советское искусство": эти газеты очень нужны, во-первых, для "технической потребности", во-вторых - в помощь курающим товарищам и, наконец, в-третьих, конечно же, чтобы быть "в курсе..."

Генерал Масленников приезжает в Воркуту, обращается к заключенным: "Товарищи!", говорит, что все будет исправлено, а из толпы ему кричат: "И 17 лет наших каторжных нам вернешь?"

Генерал уезжает, готовится стачка, отца избирают в стачком, он выдан стукачам и увезен (успел предупредить, чтобы мы не удивлялись долгому от-

сутствию писем) - стачка расстреляна, генерал Масленников в Москве кончает самоубийством; и тут вдруг начинают выпускаться...

Начинали с тех, у кого в деле был какой-нибудь документ, прошение родных или близких.

Уже упоминавшийся в нашем повествовании Анатолий Николаевич Карачистов, узнав у себя на заводе, в Павлове на Оке, что его фронтového друга арестовали, написал наверх, в прокуратуру (еще при Сталине в 1951 году!), что он лучше других, по фронту знает арестованного и ручается за него, как за самого себя: "если он виноват, то и я виноват" (давал под Сталинградом партерекондацию). Мужественному человеку необычайно повезло, что он числился по рабочему классу и жил в провинции, где сумели замаять дело (чрезвычайно дорожили золотыми руками этого мастера).

Очевидно, это письмо, вместе с заявлением матери, сократило отцовский лагерный срок на год или больше.

Сейчас на расстояния почти неразличима разница - 1954-й или 1956-й; но если эту разницу отсидеть в бараке за проволокой...

Передо мною лежит справка (часть заранее оформлена типографски): "СССР. Министерство внутренних дел. Форма "А". Видом на жительство не служат. При утере не возобновляется. ИТЛ "Ж" № 0015825, 12 июля 1954 г. Выдана гражданину Эйдельману Якову Наумовичу... в том, что он (она) отбывал (ла) наказания в местах заключения МВД и решением прокурора МВД СССР срок снижен до пяти лет и в силу ст. 1 указа от 27 марта 1953 года со снятием судимости освобожден (на) и следует к избранному месту жительства гор. Москва до ст. Москва.

Подписи: начальник лагеря (зачеркнуто - ИТК) - Прокопьев.

Начальник отдела (зачеркнуто части) Рыбкина.

Паспорт выдан. Билет на проезд выдан до ст. Москва.

Следует "подпись освобожденного".

Дали несколько рублей, посадили в поезд Воркута - Москва, и снова, как в 1945-м, - безмерная радость встречи, надежды на будущее.

1954-1978

Возвратившись, в партию не стал восстанавливаться, и это сразу отрезало возможность вернуться в печать: был беспартийный - одно дело, исключенный - другое.

Когда-то был заметной фигурой в центральных газетах - теперь поработал корректором в одной из типографий и заслужил 58 рублей пенсии. Воспитывал внучку, но и она быстро вырастает; несколько раз съездил в любимое Михайловское; кое-что подрабатывал, все больше под чужим именем. Да и переменялся после лагеря - статейки, рецензии на "театральную продукцию" совсем не увлекали.

Уехать? Но семья, да и в те годы не очень-то уезлешь.

Сил было еще много, они требовали выхода, душили, напоминая пушкинским *Кипит в бездействии пустошь...*

И снова - спасительный дневник (кажется, третий или четвертый по счету: предыдущие пришлось уничтожить на войне, пропали при обыске). Снова - старинные собеседники: Бунин, Герцен,

Салтыков-Щедрин, Чехов, Пушкин.

"2 февраля 1974 года.

Чем дальше я живу - тем больше об искусстве - как бессмысленно СПОРИТЬ по искусству, как нелепы и безрезультатны все попытки ОБЪЯСНИТЬ суть искусства. Это - НЕОБЪЯСНИМО. Почему то или иное произведение РАНИТ, волнуется, вторгается в тебя НА ВСЮ жизнь, рождает в тебе сладостную дрожь? Не объясним - как красноречиво ни говори об этом. Ведь иногда маленькие отрывки, фразы, два-три слова становятся КЛЮЧОМ к рассказу, стихотворению, целой поэме, ко всему творчеству художника, ТОНОМ, определяющим всю музыку!..

Мне было 15-16 лет, когда я впервые прочитал рассказ Чехова "Дом с мезонином". Рассказ с самого начала пленил поэтичностью, тонкостью, целомудренной чистотой. И вдруг - последний, заключительный аккорд:

Миссю, где ты?

Не знаю, что случилось со мной! Слово ударило что-то в сердце, молния блеснула, по-новому осветились лица ге-

Как часто и настойчиво преследует мысль о самоубийстве... Почему? Разве не смешно: и без этого жизнь вплотную подошла к концу. Через 3 дня исполнится 78 лет - и вдруг мысли о самоубийстве! Как это объяснить? Но разве все можно объяснить до конца? В лагере были случаи попыток к бегству ЗА 2-3 МЕСЯЦА ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА - людей, отсидевших уже 10-15 лет

роев рассказа, все его содержание. Во мне зазвучала какая-то чудесная, нездешняя - я не сочиняю! - музыка, и с тех пор, вот уже 60 лет, не умолкая, поют во мне эти слова: "Миссю, где ты?"; поют часто во сне, в минуты трудных, горьких переживаний, более того, - на всю жизнь поселился во мне ВСЕ ЧЕХОВ, раскрывая передо мною весь лучезарный, сияющий, волшебно-поэтический, вдохновенно-грустный и музыкальный мир его творчества!

И то же повторилось при чтении "Евгения Онегина".

Казалось бы, вдоволь уже наслаждаясь чарующей красотой, глубиной, поэтической мудростью поэмы. И вдруг -

А мне, Онегин, пышность эта...

Отец вспоминает то самое пушкинское, "лагерное" стихотворение: "Разве мог бы я встать на фронте, в тумане и в лагерах, если бы не Чехов и Пушкин? Помогает истинно верующим молитва!"

"8 апреля 1974 г.

Как часто и настойчиво преследует мысль о самоубийстве...

Почему? Разве не смешно: и без этого жизнь вплотную подошла к концу. Через 3 дня исполнится 78 лет - и вдруг мысли о самоубийстве! Как это объяснить? Но разве все можно объяснить до

конца? В лагере были случаи попыток к бегству ЗА 2-3 МЕСЯЦА ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА - людей, отсидевших уже 10-15 лет. Разве холодным рассудком это поймешь? А я не осуждал этих людей. Им давали новые "сроки", но я не был в числе тех, кто выражал страстное недоумение. Хотя не до конца "понимал".

2 августа 1974 года.

"Все люди одиноки".

Это я услышал не от культурного, "эрудированного" человека, а от простой, малграмотной женщины, дворничихи, во время случайного нашего разговора. Сказала она это грустно, задумчиво - и я почувствовал за этими ее словами большую боль, груз тяжелых переживаний.

"Все люди одиноки". Можно жить, "как все", читать книги, посещать концерты, театры, проводить часы у телевизора, ездить на курорты, принимать гостей, смеяться, слушая нелепissime анекдоты, - можно жить, "как все", и ни на минуту не раставаться с мучительным чувством одиночества, душевной пустоты, с горьким сознанием бессмысленности своего существования, своей ненужности..."

Пал духом, погнал, - но не умел сдаться: заказал, что ли, была у этого странного поколения, с его тихой провинциальной юностью, позволившей пережить войны, революции, лагеря.

В августе 1975-го отметил "золотую свадьбу" с женой, сыном и внучкой в Псковском Пушкинском заповеднике: на 80-м году жизни, с большим сердцем, обошел Пушкинские горы, Михайловское, Тригорское и сказал на прощание: "Вот и все, прощай, Пушкин, больше не увидимся!"

Последняя выписка из классиков, незадолго до смерти:

"Нет большого раба, чем тот, кто считает себя свободным, не являясь таковым" (Гете).

Последняя запись в дневнике (1978 г.): "И лишь изредка снова ощущаю в себе все приметы нормального человека: вспышки ярости, ненависти, боевой страсти, любви, пылкой веры во что-то, желания действовать..."

Умирал мучительно (рак желудка), стараясь как можно меньше беспокоить столь привычную к вечным горестям жену; не допускал внучку, чтобы она, не дай Бог, запомнила его таким, а не прежним; выходя из забытия, пытался острить: "Видно, мало пьете за мое здоровье". Я спросил:

- Ты что, те хочешь выздороветь?

- Нет, иначе придется все это пережить еще раз.

Дня за два до смерти вдруг прошептал (говорить уже было трудно) любимые строки из Саша Черного:

Есть горячее солнце, наивные дети, Драгоценная радость мелодий и книг, Если нет - то ведь были, ведь были на свете

И Бетховен, и Пушкин, и Гейне,

и Григ...

Когда его молодые приятели, уехавшие в Израиль, узнали о смерти друга-учителя, - они посадили в заповедной роще десять деревьев в память ушедшего и прислали о том документ, хранящийся у моей мамы.

Рядом с сотнями тысяч деревьев, единственных памятников тем, кто сожжен в Трелинке и убит в гетто, - растут, шумят десять деревьев - маленькой рощица "Яков Эйдельман".

Он был бы доволен, мой отец, веривший в природу, в живое и мечтавший, как один давний умерший единомышленник, строками Лермонтова:

Надо мной чтоб, вечно зеленая,

Темный дуб склонялся и шумел...